

нием продвигаться по социальной лестнице, достичь по возможности наиболее высокой позиции в иерархической пирамиде.

Необходимо также подчеркнуть, что из 60 рассмотренных ФЕ 29 являются стилистически нейтральными, 20 отмечены в лексикографическом источнике как разговорные, 3 ФЕ имеют помету «шутл.», 3 – «ирон.», 1 выражение снабжено пометой «неодобр.», по 2 ФЕ относятся авторами словаря к устаревшим лексическим единицам и лексике высокого стиля.

### Список литературы

1. Тюрина И.О. Социальная иерархия и ее законы [Электронный ресурс]. URL: <http://mirznanii.com/a/230146/sotsialnaya-ierarkhiya-i-ee-zakony> (дата обращения: 09.07.2017).
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1985.
3. Duden: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik / Bearb. von G. Drosdowski u. W. Scholze-Stubenrecht. (Der Duden in 12 Bänden, Bd. 11). Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 1992.

\* \* \*

1. Tjurina I.O. Social'naja ierarhija i ee zakony [Elektronnyj resurs]. URL: <http://mirznanii.com/a/230146/sotsialnaya-ierarkhiya-i-ee-zakony> (data obra-shhenija: 09.07.2017).

2. Rozental' D.Е., Telenkova M.A. Slovar'-spravochnik lingvisticheskikh terminov. M.: Prosveshhenie, 1985.

### *German phraseological units with the semantics of the social hierarchy*

*The article deals with the German phraseological units with the semantics of the social hierarchy recorded in the Duden dictionary. The author identifies some stylistically marked phraseological units in this thematic area. A significant number of phraseological units with the semantics of the social hierarchy with the inner form are found out.*

**Key words:** *social hierarchy, phraseological units, fixed phrase, inner form, stylistic coloration, figurative base.*

(Статья поступила в редакцию 04.08.2017)

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

**П.В. МИТЯШОВ**

(Новониколаевский, Волгоградская обл.)

### РЕЦЕПЦИЯ БУРСАЦКОЙ ПРОЗЫ В АСПЕКТЕ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШЕН

*На основе дифференцированного подхода к читательской аудитории второй половины XIX в. анализируется рецепция феномена бурсацкой прозы. Восприятие «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского включено в контекст литературы нон-фикшен. Проблема фактической достоверности художественного текста рассматривается в процессе «диалога» с литературной критикой, концепциями литературоведов и религиозных деятелей, а также в свете мемуаров Д.Н. Мамина-Сибиряка.*

**Ключевые слова:** *бурсацкая проза, герменевтика, «горизонт ожидания», литература нон-фикшен, рецепция.*

Одно из предложений коллективного проекта «Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безопасности России и пути его преодоления» (руководитель – доктор педагогических наук, профессор В.И. Слободчиков) сформулировано четко и однозначно: «Срочно создать авторитетную комиссию и пересмотреть перечень изучаемых в рамках школьного курса обязательных и рекомендованных литературных произведений» [18, с. 138]. Разумеется, ядро этого списка традиционно составит русская классика; дискуссия, скорее всего, развернется по поводу художественных текстов советской и постсоветской истории. Понятно, что популярное в периодике сочетание «функциональная неграмотность» населения определяется не количественными, но качественными параметрами. Нам представляется, что в данной ситуации не лишне напомнить о широко известной «бритве (лезвии) Оккама»: «сущности не следует умножать без необходимости» [19, с. 455–456], т.е. принципе методологического редукционизма, или экономии. Конечно, «экономить» на изучении художественной литературы неправомерно, но нельзя не принимать во внимание то, что рецептивные возможности любой читательской аудитории не безграничны и, помимо

прочего, определяются рядом факторов, выходящих за пределы эстетики.

Английский писатель-фантаст Нил Гейман предложил неожиданный поворот проблемы, связывая с недооценкой чтения стремительно развивающуюся в Америке индустрию – строительство частных тюрем: «Тюремная индустрия должна планировать свой будущий рост: сколько камер им (владельцам тюрем. – П.М.) понадобится, каково будет количество заключенных чрез 15 лет. И они обнаружили, что могут предсказать все это очень легко, используя простейший алгоритм, основанный на опросах, каков процент 10- и 11-летних не может читать. И, конечно, не может читать для своего удовольствия». Писатель заключает: «В этом нет прямой зависимости, нельзя сказать, что в образованном обществе нет преступности. Но взаимосвязь между факторами видна» [5].

В подобном аспекте ни теоретически, ни методологически (да и методически тоже) вопросы чтения не ставились в России. Пока же обратим внимание на феномен чтения, как говорит Нил Гейман, «для своего удовольствия». Данный вопрос также решается далеко не просто, т.к. персонально-личностное «вкусное» отношение к искусству может вступать в противоречие с его дедуктивно-познавательной функцией. Задача разрешения оппозиции *utile / dulce* (*полезное / приятное*) стояла в российской культуре со времен петровских преобразований.

Более того, именно сейчас, когда требование углубления духовных основ образования сочетается с идеями трезвого расчета, читатель хочет быть одновременно и соучастником, «соавтором» текста и его «экспертом»-аналитиком, т.е. ощущать себя *внутри* и *вне* «герменевтического треугольника», часто – даже *над* ним. Иногда в этой связи возникают иррационально парадоксальные ситуации. Так, при изучении в средней школе повести А.С. Пушкина «Метель» можно услышать вопросы, которые еще лет десять назад просто не пришли бы в юные головы: «Как можно согласиться жениться проездом?», «Как невеста могла не разглядеть жениха под венцом, и священник ошибся, в то время как Бурмин разглядел даже в темном углу, что “девушка недурна”»?» [14, с. 72]. По иронии истории, аналогичными проблемами в 1831 г. был озабочен и рецензент «Северной пчелы», желая уязвить автора [7, с. 35].

В современном читательском сознании все большую значимость приобретает проблемаху-

дожественной достоверности, проецирующая на реальную жизненную основу происходящего, что стимулирует обсуждение вопроса об исторической и эстетической подвижности феномена «художественная литература». Классическими в этом плане остаются труды Ю.М. Лотмана и его последователей. Раскрывая содержание и структуру данного понятия, исследователь считал, что всегда будут явления, рассматриваемые как «не-литература», вне категорий художественности. «Как только мы удаляемся за пределы привычных нам представлений и той культуры, в недрах которой мы воспитаны, количество спорных случаев начинает угрожающе возрастать. Не только при изучении средневековой (например, древнерусской) литературы, но и в значительно более близкие эпохи провести черту, обозначающую рубеж юрисдикции литературоведа и начало полномочий историка, культуролога, юриста и т.п., оказывается делом совсем не столь уж простым». В качестве примеров приводятся не только традиционно упоминаемая в подобных случаях «История государства Российского» Н.М. Карамзина, но и «Опыт теории партизанского действия» Д.В. Давыдова, причисленный к феномену художественного познания, пожалуй, только А.С. Пушкиным [12, с. 203].

Впрочем, еще Аврелий Августин писал: «Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных в виде пяти “пещер мрака” <...>». Однако далее читаем: «Если я декларировал стихи о летящей Медее, то я никого не уверял в истинности самого события; если слушал такие стихи, то я им не верил <...>» [1, с. 34–35].

В настоящее время просматривается аналогичная тенденция. Если литераторы в поисках новых форм выражения обращаются к маргинальным формам (например, стилю киберпанка), историки – к альтернативной истории, гуманитарии – к виртуальным артефактам, созданным с помощью компьютерных технологий и т.д., то читатель все активнее начинает искать наиболее привлекательную и познавательно насыщенную составляющую в документалистике. И часто именно литература *нон-фикшен* становится лакмусовой бумажкой в определении степени адекватности художественной наррации реальному объекту.

В синтезе объективной фактической точности и субъективно-нравственной оценки заключена притягательная сила мемуаров, воспоминаний, автобиографических записок. Не

случайно также в последние десятилетия приобрели особую популярность различного рода справочные издания энциклопедического типа, в частности «Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы» – экспериментальный труд Института филологии Сибирского отделения РАН под ред. Е.К. Ромодановской (Новосибирск, 2003–2009). Вполне возможно, что «наивный» читатель-прагматик, ознакомившись с каким-либо одним из трех выпусков, придет к мысли о целесообразности каталогизации не только мотивно-сюжетных конструкций, но и основных параметров характерологического плана, ссылаясь на однотипность действий литературных героев в похожих ситуациях. И это будет для него еще одним аргументом в пользу предпочтения беллетристике литературы документальной.

Мемуаристика как форма *нон-фикшен* по природе своей диалогична. Во-первых, это диалог времен: прошлого и настоящего; во-вторых – диалог автора с самим собой на разных стадиях духовно-нравственной эволюции; в-третьих – его диалог с современниками и потомками. Мы же будем иметь в виду диалогичность соотношения художественной и документальной форм в исследовании весьма специфической и малоизученной темы: «Бурса и бурсак в отечественной словесности». Как будет показано ниже, именно внехудожественный фактор (в различных модификациях) как феномен направляющий и одновременно фильтрующий восприятие, а следовательно, определяющий в дальнейшем пути анализа литературного произведения способен поставить точку в часто в бесконечных литературоведческих дебатах.

Конечно, всем памятно знаменитое начало гоголевской повести «Тарас Бульба»: «– А повернись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу». И долгожданная встреча происходит совсем не по канонам ожидаемого благочестия: «вместо приветствия после давней отлучки» отец и старший сын «начали насаживать друг другу тумачи и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая». По отношению к младшему, стоявшему в стороне, звучали слова: «бейбас», «собачий сын», «мазучик». Последовало и выразительное отцовское резюме: «Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все

те книжки, буквари, и философия – все это ка зна що, я плевать на все это! – Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати». Разумеется, ни о каком молитвенном состоянии душ двух «дюжих молодцов», чьи «крепкие, здоровые лица» еще не знали бритвы, речь не идет [8, с. 42–44].

Однако заметим: в этом описании, как и в повести «Вий», воспроизводящей толпу спешащих под удары семинарского колокола «грамматиков, риторов, философов и богословов», одинаково полуголодных и мечтающих о вакансиях, наполнявших классы «разноголосыми жужжаниями» независимо от «официального статуса», начисто отсутствуют ирония или оскорбительная насмешка. Читатель попадает в сферу добродушного юмора, примиряющего и с «крепким» словом Тараса, и дифференцированной бранью «ученого сословия»: грамматика бранились между собой «самым тоненьким дискантом», риторы «божились» тенором, философы брали «целою октавою ниже», а «богословия побивала всех». Почтенных читателей не коробили в гоголевских описаниях (если не считать «пуристов» типа Н.И. Греча) элементы тенерьизма: будущие пасторы ходили в «изодранных или запачканных платьях» с карманами, напичканными «всякою дрянью»; запах табака и «горелки» слышался от философов так далеко, что «проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух» и т.д. [Там же, с. 211–212].

Сказанное касается и непосредственного предшественника Гоголя – В.Т. Нарезного, чей роман «Бурсак» (1824), названный автором «малороссийской повестью», вызвал доброжелательный и откровенный интерес русской публики – и образом главного героя-бурсака, носящего имя римского мученика Неона, и авантурной (в духе Вальтера Скотта) интригой. Об условности исторического фона произведений, как и о степени адекватности легенды о «начальнике гномов» Вие фольклорным источникам вряд ли кто из читателей задумывался. Текст был самодостаточен, говорил сам за себя. Пожалуй, только один момент вызвал недовольство В.Г. Белинского. Отметив частичное сходство повести «Вий» и романа Нарезного, критик привел мнение С.П. Шевырева, с которым полностью согласился: «ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челю-

стями вместо ног и языком вверх, тут уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто в уродливое» [3, с. 303].

В данном случае оба критика имели в виду «неудачи» писателя в сфере фантастики. Однако над спецификой художественного преобразования безобразного и ужасного размышлял еще Аристотель. «На что нам неприятно смотреть [в действительности], на то мы с удовольствием смотрим в самых точных изображениях, например, на облик гнуснейших животных и на трупы» [2, с. 648–649]. Опасность того, что уродства и гримасы жизни могут стать в искусстве самоценны, остро ощущал А.С. Пушкин. Он с возмущением писал о так называемой «неистой словесности» – французской литературе, не брезговавшей подробностями насильственных смертей, изощренных убийств, казней и прочих жестокостей. «Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона и на пояснения оных клеименого каторжника <...> Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он явился <...>» [17, с. 105]. Так поэт воспринял известие о выходе в свет мемуаров Ш.А. Сансона (у Пушкина Самсона. – *П.М.*), парижского палача, казнившего во время Великой Французской революции не только Людовика XVI и Марию-Антуанетту, но и сотни неповинных людей. В литературу пришли «и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравлявший своих ближних, и Папавуань, резавший детей: мы их увидим опять в последнюю, страшную минуту. Головы, одна за другою, западают перед нами, произнося каждая свое последнее слово <...>» [Там же, с. 105–106].

Однако подобными откровениями, как и произведением В. Гюго «Последний день приговоренного к смерти», написанным в форме дневника, которое также упоминает Пушкин, в России зачитывались. В.В. Виноградов объяснил особенности рецепции этого романа: «<...> В нем существенны были этапы “смертничества”: темница с ее физическими истязаниями, с ее ужасом предсмертных томлений и эшафот. Но они понимались меньше всего как новая художественно-идеологическая конструкция, как новые формы тематики социального протеста или как своеобразная психометафизическая концепция смертной казни» [4, с. 65]. Из произведения извлекался лишь сюжет.

К проблеме рецепции бурсацкой темы у Гоголя или Нарезного подобная ситуация ни-

какого отношения, естественно, не имела: для читателя *приятное* совмещалось с *полезным*. Но в начале статьи не случайно было приведено мнение Нила Геймана, связывавшего проблему восприятия литературы с увеличением в стране числа тюрем. К сожалению, арестантская тема острога и каторги пришла в русскую литературу во второй половине XIX в. не только с «Записками из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, а позднее с очерками А.П. Чехова «Остров Сахалин». Она затрагивалась и в контексте проблем духовного образования, чему мы прежде всего обязаны «Очеркам бурсы» Н.Г. Помяловского (1862–1863), процесс чтения которых приводил к выводу о бурсе как тюрьме для юношества.

Популярность произведения была обусловлена не столько самим предметом описания (как видим, он не нов), сколько жесткостью, если не сказать – жестокостью последнего. Первые фразы настраивают читателя на более чем позитивный лад: «Класс кончился. Дети играют». Но далее тон резко меняется: «Огромная комната, вмещающая в себе второзездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны – в черно-бурых пологих и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением <...> между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный <...> и много в том месте злачном и прохладном паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатými и зеленоватыми стеклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный» [16, с. 4].

Ожесточенный натурализм «Очерков», где главными героями являются оторванные от семьи разновозрастные дети, можно считать беспрецедентным для русской классики. Разумеется, подход к столь изощренной беспрецедентности был разным. Одно дело – отзывы деятелей русской православной церкви (но они предполагают внутреннюю дифференциацию); другое – современников, не имевших семинарского опыта; третье – отношение членов редакции журнала «Современник», в основном выходцев из духовных семинарий, вставших на путь позитивизма и материализма. Именно с последними писатель легче всего находил общий язык: «воду толкут мало, видно

дело <...> Да и притом, говорят, там семинаристы пишут <...>, – признавался он своему биографу и другу Н.А. Благовещенскому (цит. по: [9, с. 242]). Кроме того, есть факт, который также нельзя обойти: цензурный комитет не находил достаточных оснований для запрета публикации, хотя по страницам Помяловского карандаш цензора прошелся, и не раз.

Что же касается собственно рецепции произведения, то «горизонт ожидания» читательского контингента практически не расходится с нашим пониманием. Наиболее естественными являются, конечно, с одной стороны, резкое неприятие книги духовенством, с другой – панегирический тон критиков-демократов и историков литературы времен официального атеизма.

Выслушаем, как и полагается, обе стороны и в первую очередь сторонников негативизма, ярким и талантливейшим выразителем которого был Д.И. Писарев. Статья «Погибшие и погибающие» (1866) характеризуется им как «сравнительно-анатомический этюд», призванный «сопоставить русскую школу с русским острогом» на материале двух «замечательных сочинений»: «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского и «Записок из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, публиковавшихся параллельно.

«Результаты получаются неожиданные и довольно поучительные», – предупреждает автор [15, с. 86]. Вот некоторые суждения Писарева: «Каждый бывший бурсак и даже каждый читатель, знакомый с очерками Помяловского, ответит, не задумываясь, что все учебные занятия бурсаков похожи, как две капли воды, на обязательную работу каторжников» [Там же, с. 89]. Или: «По мучительности своей учебная бурсацкая работа далеко превосходит работу арестантов <...>. С точки зрения обязательности или подневольности, работа бурсаков также перещеголяла работу арестантов» [Там же, с. 92]. Далее: «Если мне возразят, что бурсак в этой работе может видеть средство добиться хорошего аттестата и составить себе карьеру, то я отвечу, что и арестант, посаженный в острог на известное число лет, может видеть в исправном переливании воды дорогу к освобождению» [Там же, с. 93] и т.п. Вывод закономерен: если семинарист не получит желаемого документа и окажется на дне жизни, острог уже не испугает его и «он, вероятно, сообразит, что мертвый дом составляет для него естественное продолжение и логический результат бурсы» [Там же, с. 101].

Однако показательно, что Д.И. Писарев все-таки решается на «уступки»: «В подкрепление этой мысли я, правда, не могу привести никаких статистических фактов, потому что подобные факты еще не собраны <...>. Достоверные статистические цифры решили бы вопрос <...>» [15, с. 101]. Понятно, что никакой статистики попросту не было. Суть еще одного «реверанса», предваряющего мрачные прогнозы, заключается в том, что, оказываясь, критик, называя бурсу «русской школой», не отождествляет ее с другими учебными заведениями (гимназиями, лицеями, университетами, академиями), но лишь относит к «самой последней категории» в образовательной системе русского общества [Там же, с. 86–87].

Само собой разумеется, что в советский период «уступки» Писарева во внимание не принимались, и «потрясающая правда» очерков Помяловского объяснялась приверженностью беллетриста-демократа принципам критического реализма, тяготеющего к изображению «всего российского строя, нравственно калечащего личность, уродующего, губящего талантливых сильных людей». Так писалось в академической «Истории русской литературы», выпущенной группой ученых Пушкинского Дома (ИРЛИ СССР) в 1980-е гг. [11, с. 64].

Понятно, что богословие XXI в. пошло по пути пересмотра мрачного цинизма авторского мировидения, не прибегая в качестве «последних» аргументов ни к «кладбищенским» впечатлениям детства (Помяловский – сын дьякона кладбищенской церкви на Малой Охте в Петербурге), ни к неумеренному употреблению алкоголя, ни к обсуждаемому сейчас феномену ИСС (измененное состояние сознания), ни к последовавшей на 29-м году кончине многообещающего автора.

Разумеется, и эти факты имеют значение, но современный богослов и филолог, профессор Московской Духовной Академии М.М. Дунаев не видел «ничего нового» в «Очерках бурсы»: «Тут неявно действует гуманистический соблазн, расчет на собственные силы, гордынное убеждение в самостной способности постичь истину. В подоснове – незнание истинной веры. Так всегда, так и теперь. Ведь в бурсе не дали знания Православия этим ищущим. К Святым Отцам часть духовенства даже питала недоверие. При некоторых, отмеченных и Помяловским, внутренних склонностях натуры это всегда выльется в ересь и протестантизм» [10, с. 189]. Это, конечно, взвешенный подход образованнейшего профессионала.

И все же дело не в одном произведении одного автора. Проблема духовного образования остро стояла в России во все времена, но особенно накалилась в связи с реформаторскими установками Петра I и его последователей, с ущемлением прав церкви и духовенства, главным образом приходского. Отсюда – бедственное положение школ всех уровней, их неустроенность, материальная необеспеченность и т.п. Эти объективные трудности без прикрас раскрыты в знаменитом труде протоиерея Г.В. Флоровского «Пути русского богословия». Тем не менее известный историк философско-религиозной мысли писал, что именно «духовно-школьная сеть оказалась подлинным социальным базисом для всего развития и расширения русской культуры и просвещения в XIX-м веке. Светская школа окрепла очень не скоро, не раньше сороковых годов, – Казанская гимназия и даже Университет <...> были далеко позади тогдашних семинарий, не говоря уже о преобразованных Академиях. Именно “семинарист” в течение десятилетий оставался строителем русского просвещения в самых разных областях. История русской науки и учености вообще самым кровным образом связана и с духовной школой, и с духовным сословием» [20, с. 231].

Казалось бы, кто сейчас осмелится опротестовывать подобное мнение, прекрасно зная, что из среды семинаристов и выпускников духовных академий вышли выдающиеся богословы и представители русской религиозно-философской мысли: С.Н. Булгаков, С.С. Гогоцкий, Е.Е. Голубинский, П.А. Флоренский, П.Д. Юркевич и др.; историки Н.Ф. Каптерев, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев; педагоги П.Ф. Каптерев и С.И. Миропольский; публицист и литературный критик Н.Н. Страхов; художник В.М. Васнецов; ученые и практики естественнонаучного профиля Н.Н. Бурденко, И.П. Павлов, А.С. Попов и др. Всем известен В.Ф. Войно-Ясенецкий, доктор богословия, знаменитый хирург, ученый-теоретик, профессор, не получивший духовного образования, но канонизированный РПЦ в сонме новомучеников и исповедников Российских как архиепископ Лука. Наконец, в 1909 г. окончил духовное училище в Кинешме и поступил в Костромскую духовную семинарию будущий маршал Советского Союза А.М. Василевский. Однако не лишним будет знать и о том, что генерал-лейтенант А.А. Власов, командующий Русской освободительной армией, был сыном церковного старосты, закончил духов-

ное училище и поступил в Нижегородскую семинарию, обучение в которой прервали события 1917 г.

Как же разрешить подобное противоречие, далеко выходящее за круг чисто художественных проблем? Как отмечалось выше, решающую роль в этом плане может сыграть документалистика и прежде всего мемуарная литература. Она действительно способна отфильтровать факты и с высоты приобретенного исторического, жизненного и духовного опыта дать им неоднозначное осмысление.

Нам кажется целесообразным включить автора «Очерков бурсь» в своеобразный «диалог» с его современниками, сумевшими извлечь «уроки» из своего также нелегкого бурсацкого прошлого. Так, Д.Н. Мамин-Сибиряк прошел свою «жестокую школу» в Екатеринбургском уездном духовном училище. И в «Автобиографических записках. Из далекого прошлого» он подчеркивает, что, готовясь к трудностям заранее, еще до поступления, несколько раз прочитал Помяловского. Да, *alma mater* – бурса с бесстрашием опытного хирурга приводила всех к одному общему знаменателю, нивелируя личность. «Ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем», – так писал Помяловский, приводя в пример уничижительные «клички» (*Митаха, Элпах, Тавля, Шестухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька*) и отмечая, что были и крайне неприличные [16, с. 7, 5]. Видимо, без «кличек» не обходилось и в Екатеринбургской бурсе, но у Мамина-Сибиряка есть замечательное признание: он думал о своих товарищах – поповичах, дьяконских, дьячковских и пономарских детях как о Петрах, Иванах, Николаях с собственной физиономией, характерами и привычками. А жалость к обиженным была воспитана еще в родительском доме отцом-священником. Однако и она была «разумной»: когда ректор входил в класс с «роковым» списком в руках, ученики относились к нему «без злобы», как к человеку, исполняющему свой долг [13, с. 255]. По Помяловскому, «главное свойство педагогической системы в бурсе – это долбня, долбня ужасающая и мертвящая <...>. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смысла: “Стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, постигли, постигли... стыд и срам потом постигли...”». Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечат-

левалось в голове ученика «стыд и срам» [16, с. 24]. Мамин-Сибиряк также познал «прелесть» зубрежки, и ему долгое время не удавалось осилить «Устав церковной службы», содержащий такие «непонятные» и трудно произносимые слова, как «предпразднство и «попразднство» [13, с. 295]. Но и эти трудности оказались преодоленными. Существенно, что Г.В. Флоровский называл «зубрение» формальным методом обучения, подчеркивая, что Устав требовал развивать «не столько память, сколько разумение». Однако считал, что путем упорного проникновения в смысл каждого слова и его многократного повтора (что и воспринималось как зубрежка. – П.М.) семинаристы осваивали Библию. В итоге было положено «крепкое основание русской библейской науки» и богословской герменевтике, т.е. «богословию изъяснительному» [20, с. 230–232]. По Помяловскому, все педагоги «получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены» [16, с. 24], чего и требовали от бурсаков. Так, видимо, и было, но Мамин-Сибиряк, наряду с требовательностью и формализмом учителей, далеко не всегда оправданными, вспоминает, например, артистизм учителя греческого языка [13, с. 257]. «Одним словом, с одной стороны, были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой – взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью» [Там же, с. 281]. Таков взгляд на бурсацкое прошлое не «мальчика, но мужа», умудренного знанием более высокой пробы.

Впрочем, было бы некорректно абсолютизировать жесткую оппозиционность очерков Н.Г. Помяловского и мемуаров Д.Н. Мамина-Сибиряка, речь идет, скорее, о диалоге авторов. Первый был лишен возможности их подтверждения дальнейшими жизненными переживаниями или переоценки. Но попытаемся сделать это, привлекая М. Горького, вовсе не склонного к сентиментальным послаблениям. Высоко оценивая «суровый реализм» писателя-демократа, он пишет в автобиографической повести «В людях»: «Читаю “Бурсу” Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство. Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный

звон, – едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько» [6, с. 466].

Русские сказки не входили в круг чтения семинаристов, но они были знакомы с детских лет; колокольный же звон Александровской лавры находящейся при ней духовной школы воспитанники слышали постоянно. И атмосфера бурсацкого быта, гнетущего и беспросветного, бесспорно, осенялась целительной благодатью. Поэтому и начальные строки повествования звучат традиционно в контексте классической литературы о детстве: «Класс кончился. Дети играют» [16, с. 4].

Можно сказать: поскольку жизненный факт всегда был насущным «хлебом» литературы, литература *нон-фикшен* в целом насыщена «хлебным» содержанием в прямом смысле слова. Именно этого «хлеба» часто не хватает современному читателю.

### Список литературы

1. Августин Аврелий. Исповедь. Абелия П. История моих бедствий / пер. с лат. М.: Республика, 1992.
2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4.
3. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 1.
4. Виноградов В.В. Избранные труды: Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976.
5. Гейман Нил. Почему наше будущее зависит от чтения [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming> (дата обращения: 20.06.2017).
6. Горький М. Полное собрание сочинений: в 25 т. М.: Наука, 1972. Т. 15.
7. Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М. – Л.: Наука, 1966.
8. Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений: в 5 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 2.
9. Десницкий В.А. Н.Г. Помяловский. Очерк жизни и творчества. 1836–1863 // Его же. Статьи и исследования: Сборник. Л.: Худож. лит., 1979. С. 233–267.
10. Дунаев М.М. Николай Герасимович Помяловский (1835–1863) // Его же. Православие и русская литература: учеб. пособие для студентов духовных академий и семинарий: в 6 ч. М.: Христ. лит., 1997. Ч. 3. С. 189–224.
11. История русской литературы: в 4 т. Л.: Научка, 1982. Т. 3.
12. Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Его же. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике

и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 203–216.

13. Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Правда, 1958. Т. 10.

14. Митяшов П.В. Документальная проза как средство активизации читательского интереса на уроках литературы // Становление субъектности учащихся в инновационном учреждении: научные основы, опыт: материалы педагогических чтений (г. Волгоград, 8 апр. 2004 г.) / под ред. Н.М. Боротко, А.Н. Кузибецкого. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2005. С. 72–76.

15. Писарев Д.И. Сочинения: в 4 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 4.

16. Помяловский Н.Г. Очерки бursы: Повести. М.: Эксмо, 2007.

17. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 7.

18. Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безопасности России и пути его преодоления. М.: Рос. ин-т стратегических исследований, 2016.

19. Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1983.

20. Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. Париж, YMCA-PRESS, 1983. Репринт. Киев, 1991.

\* \* \*

1. Avgustin Avrelij. Ispoved'. Abeljar P. Istorija moih bedstvij / per. s lat. M.: Respublika, 1992.

2. Aristotel'. Sochinenija: v 4 t. M.: Mysl', 1984. T. 4.

3. Belinskij V.G. Polnoe sobranie sochinenij: v 13 t. M.: Izd-vo AN SSSR, 1953. T. 1.

4. Vinogradov V.V. Izbrannye trudy: Pojetika russkoj literatury. M.: Nauka, 1976.

5. Gejman Nil. Pochemu nashe budushhee zavisit ot chtenija [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-libraries-reading-daydreaming> (data obrashhenija: 20.06.2017).

6. Gor'kij M. Polnoe sobranie sochinenij: v 25 t. M.: Nauka, 1972. T. 15.

7. Gippius V.V. Ot Pushkina do Bloka. M. – L.: Nauka, 1966.

8. Gogol' N.V. Sobranie hudozhestvennyh proizvedenij: v 5 t. M.: Izd-vo AN SSSR, 1953. T. 2.

9. Desnickij V.A. N.G. Pomjalovskij. Ocherk zhizni i tvorcestva. 1836– 1863 // Ego zhe. Stat'i i issledovanija: Sbornik. L.: Hudozh. lit., 1979. S. 233–267.

10. Dunaev M.M. Nikolaj Gerasimovich Pomjalovskij (1835–1863) // Ego zhe. Pravoslavie i russkaja literatura: ucheb. posobie dlja studentov duhovnyh

akademij i seminarij: v 6 ch. M.: Hrist. lit., 1997. Ch. 3. S. 189–224.

11. Istorija russkoj literatury: v 4 t. L.: Nauka, 1982. T. 3.

12. Lotman Ju.M. O sodержanii i strukture ponjatija «hudozhestvennaja literatura» // Ego zhe. Izbrannye stat'i: v 3 t. T. 1: Stat'i po semiotike i tipologii kul'tury. Tallin: Aleksandra, 1992. S. 203–216.

13. Mamin-Sibirjak D.N. Sobranie sochinenij: v 10 t. M.: Pravda, 1958. T. 10.

14. Mitjashov P.V. Dokumental'naja proza kak sredstvo aktivizacii chitatel'skogo interesa na urokah literatury // Stanovlenie sub#ektnosti uchashhihsja v innovacionnom uchrezhdenii: nauchnye osnovy, opyt: materialy pedagogicheskikh chtenij (g. Volgograd, 8 apr. 2004 g.) / pod red. N.M. Borytko, A.N. Kuzibeckogo. Volgograd: Volgogr. nauch. izd-vo, 2005. S. 72–76.

15. Pisarev D.I. Sochinenija: v 4 t. M.: GIHL, 1956. T. 4.

16. Pomjalovskij N.G. Ocherki bursy: Povesti. M.: Jeksmo, 2007.

17. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: v 10 t. M.: Izd-vo AN SSSR, 1958. T. 7.

18. Sistemnyj krizis otechestvennogo obrazovanija kak ugroza nacional'noj bezopasnosti Rossii i puti ego preodolenija. M.: Ros. in-t strategicheskikh issledovanij, 2016.

19. Filososfskij jenciklopedicheskij slovar'. M.: Sov. jencikl., 1983.

20. Florovskij G.V., protoierej. Puti russkogo bogoslovija. Parizh, YMCA-PRESS, 1983. Reprint. Kiev, 1991.



### ***Rehearsal of bursa's prose in the aspect of non-fiction literature***

*Based on the differentiated approach to the reading audience of the second half of the XIX century, the article deals with the phenomenon of the bursa's prose. The perception of "Bursa's Essays" by N.G. Pomyalovsky is included in the context of non-fiction literature. The issue of the actual authenticity of the fiction text is considered in the process of "dialogue" with literary criticism, concepts of literary and religious figures, and in the light of the memoirs of D.N. Mamin-Sibirjak.*

**Key words:** *bursa's prose, hermeneutics, "horizon of expectations", non-fiction literature, reception.*

(Статья поступила в редакцию 11.08.2017)